

# ГЕТЕРА

ЭДМОН ФРИЖАК



ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



Эдмонд Фрижак

**Гетера**

«Седьмая книга»

## **Фрижак Э.**

Гетера / Э. Фрижак — «Седьмая книга»,

Древняя Греция, Афины, V век до нашей эры. Суровый воин и искусный стратег Ио Конон, любимец Афин, полюбил дочь знатного афинянина, юную Эринну. Приближается свадьба, но вот только на красавца Конона давно уже положила глаз любвеобильная гетера Лаиса...

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	24
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Эдмонд Фрежак Гетера

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Глава 1

Заря занимается. Перед нами руины. Плиты, мрамор, кирпичи, торсы идолов, обнаженные или прикрытые, кресты, полумесяцы, колонны. Птицы свили себе тут гнезда и по утрам летают над развалинами.

Полдень пылает. Тоненькая змейка обращается в бегство, шипит и, блестя чешуей, скрывается между камнями. Ящерицы гоняются одна за другой под кустами терновника. Примостившись на уцелевшей еще колонне, коршун дремлет на солнце; стрекозы поют.

Вечер. Короткие тени от кустарниковых растений становятся фиолетовыми и вытягиваются; пение стрекоз сменяется стрекотанием кузнечиков; сова сменила коршуна.

Легкий ветерок проносится над землей и колеблет траву, молочай закрывает свои розовые цветы. Темное небо усеяно звездами. Окутанная мраком пустыня стонет и поет всеми своими голосами ночи.

Завтра будет то же, что и сегодня. Но глаза, смотрящие на эти развалины, никогда не бывают одни и те же: живые существа меняются; камни остаются. Жизнь живых существ переходяща, жизнь предметов неодушевленных вечна. Возможно, что живые существа превратились в неодушевленные для того, чтобы не умереть.

Иногда на эти неподвижные развалины обращает свое внимание подвижная мысль. Она восстанавливает их; она придает им на время иллюзию жизни. Но все снова впадает в молчание, и эта кажущаяся действительной жизнь была только грёзой...

Вот она.

\* \* \*

Вечерний сумрак окутывал стены Акрополя, и храм Победы казался уже только бесформенной массой. Конон и Гиппарх вышли из храма и очутились на обширной паперти, всего несколько минут тому назад еще залитой светом, полной жизни, а теперь начавшей уже окутываться безмолвием мрака. Они спустились по лестнице Пропилеев и вышли на широкую дорогу, которая шла между могилами и надгробными памятниками в керамику. Далеко впереди, у входа в город, сверкали еще кое-где огоньки. Скоро они исчезли. С ними затих и последний шум. И теперь слышался только резкий крик запоздалых птиц, пролетавших высоко в воздухе.

Конон был тот самый молодой триерарх, которому счастливая удача на войне создала вдруг блестящую репутацию.

Две недели тому назад, стоя на якоре возле Сигеи с пятнадцатью триерами, составлявшими авангард флота Алкивиада, он получил известие от своих легких разведочных судов, что под Сестосом идет жестокая битва. Флот, выставленный Лакедемонией и Сиракузами, силился прижать к берегу афинские галеры, находившиеся под командой Тразилла. Армия перса Фарнабаза покрывала весь берег моря. Запертые в бухте суда афинян не могли бы долго сопротивляться натиску всего дорийского флота и должны были бы погибнуть под ударами варваров... Вдруг на горизонте показались паруса каких-то судов. Суда приближались. Сражающиеся, одни с ужасом, а другие с неизъяснимой радостью, увидели развевавшиеся на верхушках мачт пурпуровые флаги, грозные символы ионийской лиги.

Подгоняемый ветром с моря вспомогательный флот, убрав весла, приближался на всех парусах, и уже можно было различить тонкий след пены, бежавший вдоль бортов. Напрасно Миндарос выслал навстречу ему самые крепкие и самые тяжелые лакедемонские корабли. Они не могли выдержать ужасного толчка. Пробитые таранами они печально качались полуза-

топленные на море, покрытом обломками. Моряки Тразилла с новыми силами бросаются на неприятелей; последние лучи заходящего солнца освещают показавшиеся на горизонте остальные корабли Алкивиада, которые тоже спешат принять участие в битве. То, что остается от флота Миндароса, собирается и убегает...

Конон, по приказанию стратега, тотчас же отправился в Афины сообщить счастливую весть об одержанной победе. Население Афин, созванное пританами, заставило его взойти на Пникс, чтобы оттуда сделать сообщение народному собранию. Молодой победитель не обнаружил никакого смущения, несмотря на то, что еще только в первый раз всходил на трибуну, с высоты которой столько красноречивых голосов бросало уже свои страстные призывы.

Согласно обычаю, он сложил на жертвенник все свое вооружение: щит из полированной стали, обитый кругом золотыми гвоздиками и с выпуклым на нем изображением страшной Медузы; кожаную перевязь вместе с тяжелым мечом, шлем с золоченым нашлемником и с красным султаном из конских волос; наконец, копье из ясеня с тройным рядом украшений из меди по всей длине. Он откинул за плечи пурпуровые складки паллиума. Оставшись только в вышитой тунике, поверх которой была надета доходившая до талии легкая кираса из шерстяной ткани, украшенной серебряными блестками, и стоя на трибуне с обнаженными ногами, обнаженными руками и с обнаженной головой, он так живо напоминал собой бога войны Ареса, что аплодисменты раздались раньше, чем он заговорил. Он описал или, скорее, изобразил мимически битву и сделал это просто, без излишних жестов. Зевгиты и теты приветствовали его восторженными кликами, а всадники, к классу которых он принадлежал, стряхнув свою обычную леность, поднялись, чтобы оказать ему больше чести. Увлеченная порывом охватившего ее патриотизма народная волна устремилась к трибуне. Конон видел только тянувшиеся к нему снизу жестикулировавшие руки и открытые рты, громко кричавшие что-то, но что именно, разобрать было нельзя. Видя, что ему нельзя уже будет заставить слушать себя, он схватил свое копье и угрожающе потряс им во все четыре стороны; затем он обернулся лицом к востоку и опустил на одно колено, взывая к богине, колоссальная статуя которой смотрела на него с высоты Акрополя. Громкие клики слились в один протяжный клик, и этот клик, прогремев по всему холму, пронесся через стены и покатился по равнине и к морю. Старикам казалось, что вернулись геройские дни, наступившие после Саламина и Микале. Те, которые не были очевидцами великой войны, снова приобрели веру в будущее. И все видели в молодом воине, воинственный пыл которого так наэлектризовал их, того, кому суждено отомстить за успевший уже забыться сиракузский позор.

В этот день Конон, uznанный народом в то время, когда он присутствовал в Парфеноне в числе зрителей при конце дионисии, желая уклониться от оваций, принужден был искать себе убежище в храме Победы. Его провожал скульптор Гиппарх, который был его товарищем в юношеские годы. Теперь оба друга, с наступлением ночи, направлялись, разговаривая, к Афинам.

– Лаиса была очень красива сегодня, – сказал Конон. – Она должна быть так же богата, как и красива, чтобы держать столько носильщиков при своих носилках.

– Она и в самом деле богата, – отвечал Гиппарх. – Ее присутствие на празднествах удивляет меня. Она бывает на них очень редко. Во-первых, потому, что она выходит только после десяти часов: ее белая кожа боится яркого солнца. Потом культ богов не очень привлекает ее; меньше, разумеется, чем общество тех умных и талантливых людей, которым она открывает свой дом.

– Ты бываешь у нее?

– Никогда. Один раз она приглашала меня к себе под предлогом посмотреть древнюю статую, с большими издержками привезенную с Крита. Я тогда только что женился: Ренайя, по-видимому, была недовольна; мне самому тоже не хотелось идти к ней, и я остался дома.

– Это правда: ты один из тех редких афинян, которые любят тишину гинекея и отказываются от всяких развлечений вне дома. Я знаю даже, что Каллиас, наш старинный товарищ, считает тебя за безумного, одержимого священным недугом.

– Пусть он считает меня за кого хочет, – отвечал Гиппарх с оттенком раздражения в голосе, – но пусть оставит меня в покое, а главное, пусть не жалеет меня. Мне не дало бы счастья, если бы я, подобно ему, занимался составлением новых румян для поблекших щек флейтисток. Я живу моей женой, моим сыном и моими статуями. Любовь к ним наполняет всю мою жизнь. Я сам хотел такой жизни и лучшего ничего не желаю, уверяю тебя, потому что мне такая именно и нравится тихая, трудовая жизнь, полная семейных радостей...

– Впрочем, – прибавил он после короткой паузы, – хотя я и редко участвую в народных собраниях на Пниксе, но, несмотря на это, я, точно так же, как и многие другие, интересуюсь делами нашего города! Эта война, которая началась чуть ли еще не в то время, когда мы появились на свет, и которая, может быть, протянется еще двадцать пять лет, медленно разоряет и убивает родину афинян, которую я нахожу такой прекрасной и которую мне так хотелось бы видеть благоденствующей. Несмотря на одержанную тобой победу, я предвижу дурное будущее. Мне кажется, что боги эвпатридов сильно колеблются с некоторых пор. Фортуна ненадежна...

– Мы укрепим ее, – сказал Конон, наткнувшись на пьяного матроса, растянувшегося среди дороги.

– Познай самого себя! – воскликнул Гиппарх, смеясь. – Вот один из твоих героев; он выпил слишком много мёду. Я оттащу его к сторонке: может быть, не все еще колесницы проехали.

Они в это время были на середине холма. Пылавшие во время празднества вокруг храма факелы догорали в высоких подставках; и освещенные слабым светом лиственницы протягивали от себя длинные дрожащие тени, которые тянулись до самой дороги.

Скульптор подхватил матроса под руки и уже собирался оттащить его в сторону от дороги, как вдруг где-то недалеко раздались громкие пронзительные крики.

– Это дерутся другие такие же пьяницы, – сказал он, выпрямляясь.

– Нет, – возразил Конон, внимательно прислушавшись, – нет, это зовут на помощь. Это голос женщины, – прибавил он, обнажая свой короткий меч и бросаясь в сопровождении Гиппарха через могилы в ту сторону, откуда слышались крики.

Крики становились все тише, а затем вдруг совсем прекратились.

Принужденные обходить огромные надгробные монументы и наталкиваясь при этом еще впотьмах на разбросанные между могилами маленькие памятники-колонки, оба друга, благодаря этим препятствиям, медленно продвигались вперед. Наконец, они увидели при слабом мерцании звезд группу мужчин, в темных одеждах, возле распростертой на земле фигуры женщины во всем белом. В руках у мужчин виднелись сорванные с нее золотые вещи и драгоценности.

– Что вы тут делаете? – крикнул Конон громовым голосом.

Двое из грабителей вскочили и убежали. Но двое остальных, вооруженных большими палками с железными наконечниками, выпрямились с угрожающим видом, готовые отразить непрошеное вмешательство.

Меч триерарха сверкнул, как молния. Один из его противников вскрикнул и упал. Другой, отскочил назад, бросил свою палку и скрылся в темноте.

– Я их проучил, как следует, – сказал Конон, вытирая о траву красное от крови лезвие.

– Значит, это были не призраки, – воскликнул Гиппарх.

Он быстро отдернул складки пеплума, который грабители накинули на голову своей жертвы; и он увидел лицо такое же бледное и холодное, как мрамор на памятниках соседних могил.

– Да, это женщина... И даже молодая женщина. Клянусь Зевсом, это дочь Леуциппы! Я знаю ее, я делал недавно для ее отца статую Артемиды.

– Как она сюда попала? – спросил Конон.

Он наклонился и прикоснулся рукой ко лбу молодой девушки; лоб был холодный, как лед.

– Мне кажется, она умерла.

– Нет, она в обмороке. Посмотри, свежий воздух приводит ее в себя, кровь приливает к ее щекам. Мы отнесем ее к отцу.

Афинянка сделала легкое движение: она, по всей вероятности, слышала эти слова; она медленно открыла глаза и сказала слабым голосом, которому тщетно старалась придать твердость:

– Я Эринна, дочь Леуциппы. Мне не нужно никакой помощи, я пойду одна.

Она сделала попытку приподняться, но у нее не хватило силы на это, и она снова опустилась на землю.

Серп нарождавшегося месяца, выскользнув из-под серебристого облачка, осветил мягким светом место, где произошло нападение грабителей. Это был пустынный уголок на скале Акрополя, приходившийся как раз против менее высокого холма ареопага. В пожелтевшей траве лежало несколько надгробных плит. Видневшиеся тут и там повалившиеся или разбитые колонны и обломки мрамора на земле служили доказательством, что живые редко заходили в эти места посещать могилы умерших.

Конон наклонился над неподвижным телом молодой девушки, завернул ее всю, несмотря на слабое сопротивление с ее стороны, в большое белое покрывало, которое казалось саваном, и, подняв ее, по-видимому, без всякого усилия, посадил, прислонив спиной к одному из мраморных памятников, у подножья которого Гиппарх уже разостлал свой плащ.

– Благодарю, – сказала она.

И, видя, что оба мужчины смотрят на нее с нескрываемым беспокойством, она прибавила слабым голосом:

– Простите меня... я так испугалась и так измучена...

– Послушай, – сказал Гиппарх, – твоя голова склоняется помимо твоей воли, и ты еще бледна. Ты уверена, что ты не ранена?

Она сделала отрицательный знак.

– Тебе больше нечего бояться, – продолжал скульптор. – Мы свободные граждане Афин, и мы не покинем тебя. Один из нас отправится за твоим отцом, другой останется возле тебя. А не то, если хочешь, мы понесем тебя по очереди.

– Нет, – отвечала она, вся покраснев. – Ко мне вернулись силы, и я могу идти сама.

Но силы опять изменили ей – ее длинные, насурмлённые ресницы слабо затрепетали, и прелестная головка снова склонилась на плечо.

– Надо же, наконец, на что-нибудь решиться, – сказал Гиппарх, – останься при ней и, если она опять потеряет сознание, смочи ей виски водой. Я побегу к Леуциппе и постараюсь как можно скорее вернуться обратно вместе с рабами.

Неподалеку от этого места, в куще розовых лавров, струился по каменистому ложу маленький ручеек, впадавший в Кефис. Конон спустился к ручейку и, наполнив свою каску чистой и свежей водой, смочил лицо афинянки. Она открыла глаза, с минуту смотрела в пространство, потом развязала шарф, который развеялся по бедрам, и прикрыла им себе плечи и руки.

Затем она взглянула на стоявшего перед ней молодого воина и, раскрыв свои все еще бледные губы, причем показались блестящие белые зубы, сказала немного дрожащим голосом:

– Что такое случилось со мной? Зачем я попала сюда?

– Ничего, почти ничего, успокойся, девушка. Ты, вероятно, заблудилась, и на тебя напали грабители. Случай, пославший нас на твой путь, дал нам возможность защитить тебя.

– Ты говоришь, случай? Вернее, Афина, моя покровительница Афина...

Она умолкла и сложила руки. По всей вероятности, она молилась и благодарила своих домашних богов. Ее тонкий белый силуэт ясно обрисовывался на темном мраморе памятника, и Конон видел, что на всей ее фигуре лежал отпечаток целомудренной и чудной грации. Через минуту она заговорила опять:

– Я припоминаю... Афина, моя покровительница, пожелала, чтобы я могла без стыда вспомнить ужасные часы нынешнего дня. Это она вверила меня тебе... Я пошла в храм вместе с матерью и с кормилицей. Но там была такая толпа и такая давка, что мы скоро отбились одна от другой. Идя в храм, мы видели некоторых из моих подруг. Моя мать, наверное, подумала, что я отправилась обратно домой с какой-нибудь из них... Долго я сидела на ступенях пропилеев: не знаю, почему проходившие мимо меня люди смотрели на меня как-то странно. Когда я решила покинуть Акрополь, я была одна. Наступала ночь. Я пошла по боковой тропинке, потому что по большой дороге шло много пьяных. Когда я проходила через оливковую рощу, мне показалось, что меня преследуют. Я побежала. Вдруг люди, одетые в темное, как рабы, напали на меня. Они схватили меня и грубо бросили на землю. Я вскрикнула. Ты и твой друг услышали меня и спасли... Она посмотрела вокруг.

– Где же твой друг? Мне кажется, что я его встречала прежде...

– Он ушел всего несколько минут тому назад сообщить твоему отцу о том, что случилось с тобой.

– Мой отец, наверное, сам захочет пойти сюда; но он старик, и не надо допускать, чтобы он так утомлялся.

Молодая девушка сделала движение, желая приподняться. Конон опустил руку ей на плечо и, вложив в свой голос тот несколько сурово повелительный тон, которым разговаривали греки того времени с женщинами, сказал:

– Сиди, я не хочу, чтобы ты шла...

Он прибавил мягче:

– У тебя больше мужества, чем сил. Ты уже два раза была в обмороке...

Она молча собрала свои длинные волосы и поправила золотой обруч, аграф на котором был сломан.

– Я потеряла все мои драгоценности... Лизиса рассердится.

– Лизиса не рассердится, потому что это было бы ужасно, – отвечал, улыбаясь, Конон. – Гиппарх нашел твои драгоценности. Кто эта Лизиса, о которой ты говоришь? Твоя мать?

– Нет, это моя кормилица; я всего только год тому назад покинула ее комнату: у меня теперь своя отдельная комната... Но она любит меня так же, как мать, и, наверное, явится сюда на носилках, которые принесут рабы.

– Все, кто тебя знает, должны любить тебя так же, как она.

– Почему это? – спросила молодая девушка, оживляясь и поднимая голову.

Конон помолчал несколько минут.

– Я и сам не знаю почему, – сказал он, наконец, немного смущенно. – Подождем прихода Лизисы и твоего отца... Хотя у тебя такой же певучий голос, как у бессмертной богини, и слушающая его, я испытываю невыразимое удовольствие, я думаю, что тебе не следует больше говорить. Послушайся меня – отдохни, я постерегу твой сон... Но мне кажется, что ты дрожишь. Ночью с гор дует ветер, а ты очень легко одета, – это хорошо только, днем, во время жары. Тебе не холодно? Хочешь, я прикрою тебе плащом колени?

– А ты? Ты забываешь о себе.

– О! Я воин: я не боюсь холода и...

– И вообще ничего..., – договорила она очень тихо.

– Ничего, – повторил Конон, невольно улыбаясь, услышав эту так наивно высказанную похвалу. Он отстегнул свой развевающийся паллиум и, с видом удовольствия, хотя и не особенно умело, прикрыл им молодую девушку, которая не сопротивлялась, так как ей, и в самом деле, было холодно.

– Теперь надо спать, не надо больше разговаривать... Все женщины немного болтливы, – прибавил он поучительно.

– Однако, – застенчиво сказала Эринна, – что же я отвечу моей матери, когда она спросит у меня твое имя, чтобы произносить его в наших вечерних молитвах.

– Не все ли равно? По всей вероятности, нам не суждено больше видеться.

В голосе молодого человека звучало как бы сожаление; Эринна, вероятно, заметила это и задумчиво ответила:

– Это зависит от одного тебя. Моя мать все-таки спросит у меня твое имя. Я сама буду горячее молиться богам, если буду знать имя человека, лицо которого запечатлется в моей памяти.

– Это правда... Меня зовут Конон, Алкмеонид, сын Лизистрата. Я афинский триерарх. Боги должны любить молитвы девушек. Я буду сражаться с большим мужеством, если ты, хоть изредка будешь молиться за меня богам... Скажи, кроме того, своей матери, – прибавил он после короткого молчания, – скажи своей матери...

– Что такое? – спросила молодая девушка, почувствовав, что у нее невольно сердце заби-лось сильнее.

– ...своей матери или Лизисе... или лучше нет, никому... не говори никому ничего... Знай только, что если случай снова пошлет тебе смертельную опасность, я чувствую, что буду защищать тебя со сверхъестественной силой Гераклия... Я готов вступить в борьбу даже с богами... Я говорю это для тебя одной, Эринна, и я не знаю, какая сила заставляет меня говорить тебе это.

– Я сохранию это для себя одной, – отвечала она.

Он понял, что она смотрела, на него, и ему показалось, что он видит, как под легким покрывалом краска вспыхнула на ее молодом лице.

Она продолжала тихо:

– Потому что я никак не могу заставить себя чувствовать после этого приключения испуг и тревогу. Я наоборот, чувствую, что никогда не была ни так спокойна, ни...

Конон опустился на колени и взял ее руку, которой она не отнимала.

– Ни?... – спросил он.

– Ни так спокойна, ни так счастлива, – прошептала она.

Она прислонилась головой к мраморной плите, закрыла глаза и больше ничего не сказала.

Стоя перед ней, он смотрел на нее, испытывая новое очарование, которое как бы исходило от молодой девушки, к которой он за минуту перед тем прикоснулся совершенно равнодушно. Не только недурная собой, но красавица, с лицом, обрамленным золотистыми волосами, в нежном и свежем расцвете своей молодости и волнения, закутанная в свои прозрачные покрывала, которым полумрак придавал еще большую гармонию и таинственность, девушка могла бы служить моделью для одной из тех статуй Артемиды, которую Лизипп и Фидий так любили изображать склоненной и усталой на ложе из сухих трав и смятого папоротника.

Он хотел говорить, но не находил в себе достаточно мужества, чтобы выразить в словах все то, чем была полна его душа в эту минуту. Может быть, в нем смутно зарождалось желание, чтобы это розовое и белокурое дитя, поставленное так неожиданно судьбой на его пути, стало спутницей его жизни. Робея перед ней так, как он никогда не робел перед непоколебимой линией целой фаланги спартанцев, он хотел бы высказать ей все те слова, которыми было переполнено его сердце, но эти слова не сходили с его уст. Он не знал, что молчание часто бывает лучше слов. Молчание передает глубину душевного волнения и смущения красноре-

чивее всяких слов, потому что особа, в присутствии которой вы молчите от волнения, слышит, как за вас говорит голос ее собственного сердца.

– Эринна, – воскликнул он вдруг, – мне хотелось бы, чтобы у меня были полные руки цветов и я украсил бы тебя гиацинтами и розами!

Она отвечала улыбкой. Она невольно опускала глаза, встречаясь с ним взорами, и в первый раз в жизни чувствовала какое-то странное смущение в душе.

Луч света, скользя по равнине, ласкал ее тонкие нежные волосы. Ветер шевелил верхушки деревьев. Шелест быстро пробежавшей ящерицы, взмах крыльями ночной птицы, протяжный лай собаки, глухой и отдаленный рокот моря – одни только нарушали безмолвие мрака.

И они долго еще молчали, углубившись в свои мечты, купаясь в голубом сумраке прозрачной ночи.

Вдали показался свет. Вскоре послышалось бряцание оружия, голоса, шум шагов.

Колеблющиеся огни факелов бросали на равнину отблески зарева пожара, и густой дым, поднимаясь прямо к небу, застилал звезды.

Впереди беспорядочной толпы слуг шел Леуциппа об руку с Гиппархом. Несмотря на усталость от быстрой ходьбы и на душевную тревогу, старик, опираясь на палку из слоновой кости, склонился перед Кононом со всем величием истинного афинянина.

– Привет Конону, сыну Лизистрата. Твоя доблесть была мне известна из рассказа о твоих подвигах против врагов Афин. Да будут благословенны бессмертные за то, что твоей славной руке я обязан сегодня спасением жизни моей неосторожной дорогой дочери.

– Леуциппа, твои похвалы приятны мне. Твоя дочь уже поблагодарила меня за это улыбкой. Посмотри, жизнь вернулась к ней, но она боится твоего гнева.

– Моего гнева, – воскликнул старец, раскрывая объятия, в которые со слезами бросилась смущенная Эринна. – Она хорошо знает, что ей нечего бояться моего гнева. Неблагодарная! Зачем ты так отдалилась от твоей матери? Почему не осталась ты под защитой плаща богини Афины, благосклонной к робким девушкам? Твоя мать побежала без покрывала к Искомаку, Диоклиду и к другим. Их дочери уже вернулись к своим домашним алтарям; ни одна из них не видела тебя. Наши рабы обыскивают всю дорогу в Фалеру; я послал стражу к городским воротам. Твой брат вооружился и тщетно спрашивает пустынное эхо Пникса, Ликейя и Ареопага. А я, твой старый отец, я совершил поздние возлияния богам. Я видел мою дочь, надежду и опору моей старости, беззащитной, предоставленной насмешкам и оскорблениям бесстыдной толпы. Селена услышала мою мольбу. Благодаря ей, благодаря вам, афиняне, благородное мужество которых она возбудила, мне не придется посыпать голову пеплом моего печального очага!

Он сделал знак. Две черных рабыни подошли к Эринне, распустили ей волосы и, умастив их сирийскими благовониями, принесенными в золотых сосудах тонкой работы, собрали их на макушке, окружив полотняными повязками. Затем они накинули на нее длинный темный плащ, вышитый шелком, и повели к носилкам, кожаные занавески которых чуть заметно колыхались от легкого ночного ветерка.

Четыре ливийца, с обнаженным торсом, подняли носилки на свои могучие плечи. Фотофоры взмахивали факелами, с которых падала горящая ароматная смола, рассыпаясь тысячами искр. Леуциппа, все еще опираясь на свою палку из слоновой кости, поместился между Кононом и Гиппархом, и шествие, соразмеря свой шаг с мерным шагом носильщиков, медленно направилось к городу. Скоро свет факелов, колеблемый ветром и затемняемый каждую минуту поднимавшимся от них дымом, осветил красноватые фасады первых домов.

Сандалии носильщиков застучали по плитам, и спустя немного времени носилки остановились. Носсиса, вся трепещущая, стояла на пороге, окруженная женщинами. В знак траура она сняла свою анадему, скинула покрывало, и ее распущенные волосы ниспадали на плечи. Эринна, выскочив из носилок, бросилась в объятия матери. И они, смешивая свои волосы и свои слезы, пошли в гинекей.

Леуциппа остановился перед протироном и сказал:

– Послезавтра мне предстоит принять за столом некоторых из моих друзей: оратора Лизиаса, Аристомена, художника Критиаса, врача Эвтикла и других. Конон и ты, Гиппарх, согласны вы оказать честь моему очагу находиться среди них?

– Леуциппа, – отвечал Конон, – твое великодушие превосходит нашу услугу. Мы будем очень рады занять место за твоим столом. Мы будем пить новое вино за победу Афин.

– Увы! Да услышат тебя боги, – сказал Леуциппа.

Старец склонился и, высвободив правую руку из-под плаща, приветствовал их широким жестом. Затем он, в сопровождении всех своих слуг, медленно поднялся по ступеням; на пороге он обернулся и снова послал прощальный привет. Бронзовые двери затворились, гремя засовами и цепями. Еще с минуту слышны были удаляющиеся под портики медленные шаги рабов. Залаяли собаки, пропел петух, и наступила тишина.

Конон неподвижно стоял перед запертой дверью. Гиппарх взял его за руку.

– Лаиса была очень хороша сегодня, – проговорил он вполголоса.

– Оставь меня в покое, – воскликнул Конон, – я не больше тебя желаю быть ее возлюбленным. Поговори со мной лучше о дочери Леуциппы, раз ты ее знаешь. Я провожу тебя до дому. Дорога покажется мне короткой, если ты будешь говорить о ней.

– Все воины сделаны из застывшей лавы, – проговорил скульптор. – Это прекрасный материал для беседы на тему о могуществе хрупких стрел Эроса: вечная история Геркулеса с прялкой у белых ног Омфалы. Успокойся, с тобой этого не случится, потому что, по крайней мере, сегодня, слепое дитя сняло свою повязку. Эринна самая красивая и самая восхитительная из всех молодых девушек, которые вышивают в нынешнем году покрывало для Афины.

– Почему ты сказал восхитительная? Кто ею восхищается? Разве она не всегда бывает под покрывалом? Значит, она иногда выходит и одна?

– Очень редко, конечно; один раз во всяком случае это было, хотя и случайно, потому что сегодня вечером ты объяснялся с ней без свидетелей.

– Ты ошибаешься; я ничего не мог ей сказать.

– Так это становится серьезным, – сказал Гиппарх. – Когда человек, такой молодой, как ты, такой смелый и такой образованный, не находит слов, чтобы выразить свои чувства, это значит, что сердце его сильно затронуто.

– Может быть, ты прав. Я чувствую в себе что-то новое.

Он замолчал и довольно долго шел, не проронив ни звука.

Две короткие тени быстро бежали впереди них. С безоблачного неба, такого прозрачного, что оно казалось кристальным, Селена, благосклонно улыбаясь, посылала свои бледные лучи на землю. Песок скрипел у них под котурнами. Иногда поднимался легкий ветерок, который заставлял развеваться их плащи.

– Итак, – насмешливо сказал Гиппарх, – тебе легче заставить слушаться своих воинов, чем мысли.

– Это правда, – отвечал Конон, – но теперь и мысли у меня в порядке.

И он заговорил совершенно свободно.

– Ты обратил внимание, как красива эта молодая девушка? Она высокого роста, у нее стройная фигура. У нее белокурые волосы, но я уверен, что глаза у нее черные... Если бы эти злодеи убили ее, это было бы большое несчастье... идти одной вечером во время дионисии... Только такие девушки и могут поступать так неблагоразумно... Я легко мог бы донести ее до дому. Я совсем не чувствовал ее, когда держал ее на руках... Ее сердце билось бы дольше возле моего; она была так хороша с закинутой назад головой и беспомощно повисшими обнаженными руками. Но она была так бледна, что мне стало страшно... И я опять положил ее на землю, потому что мне казалось, что она умирает!

– Это хорошо, – отвечал Гиппарх, видимо любивший резонерствовать. – Любовь это лестница, и первая ступень ее называется энтузиазмом...

Послушай, раз это так интересует тебя, приходи завтра ко мне. Моя жена на несколько месяцев старше дочери Леуциппы. Я знаю, что прежде они были подругами и часто бывали одна у другой. Кажется, даже Эринна и пела эпиталаму на нашей свадьбе. Ренайя редко выходит из дому с тех пор, как у нас родился сын, но она с удовольствием расскажет тебе все, что знает, и научит тебя, что тебе надо делать.

– Я непременно приду! – вскричал Конон.

– В таком случае приходи к полднику: ты скорее все поймешь, если перед тобой будет стоять чаша ионического вина. Не провожай меня дальше; вот тут под деревьями мой дом.

– Так до завтра?

– До завтра, – отвечал Гиппарх, – в четвертом часу после полудня...

Конон медленно направился к священным воротам. Ночная стража, завернувшись в плащи, спала на подъемном мосту. Несмотря на то, что страже строго предписывалось не спать во время караула, он не разбудил стражей, потому что, на сердце у него было празднично-весело.

На улицах, на перекрестках горели еще в бронзовых урнах сосновые шишки. Скоро пламя уменьшилось, потом погасло... и светлая ночь одна распростерла свое покрывало над городом.

## Глава 2

Уже давно начался день. Солнечный луч, проникая в окна, не защищенные стеклами, играл на полу.

Эринна проснулась улыбающаяся и свежая, потому что счастливые грезы убаюкали ее накануне. Опершись локтем на полотняное изголовье, она играла кончиком обнаженной ноги шарфом, который был на ней накануне, и бахрома которого ниспадала до белой козьей шкуры, разостланной на полу. Она смотрела на окружавшие ее знакомые ей предметы, и ее глаза переходили от одной вещи к другой, не останавливаясь ни на одной из них.

Две противоположные стены комнаты были занавешены красиво драпировавшимися занавесями того неопределенного зеленого цвета, недавно вошедшего в моду, который малопомалу заменил в частных домах героический пурпуровый цвет. Между этими занавесями высокие пилястры выделялись своими темными выемками на гладкой штукатурке стен. Самые стены были разрисованы до половины высоты их от полу, и между светлой листвой лазурно-голубые лотосы смешивались с темно-голубыми ирисами.

Среди комнаты, на возвышении, стояла кровать с высокими ножками из черного дерева, украшенными инкрустацией из слоновой кости. В головах стоял большой светильник из бронзы, изображающий дерево, обвитое сделанным из серебра вьюном; на дереве, на концах ветвей, висело три светильни тонкой чеканной работы. В этих светильнях плавали в душистом масле амиантовые фитили. Эринна зажигала их вечерами, когда ей удавалось унести потихоньку из библиотеки один из тех манускриптов, в которых современные авторы воспевали свободную любовь героев и богов. Она знала, что в отдаленные времена, когда на земле совершалось много чудесного, боги и богини, ускользнув с Олимпа, любили забывать в объятиях смертных однообразие своих небесных удовольствий.

Стоявший в ногах ткацкий станок имел угрюмый вид редко употребляемого предмета: рабочие часы проходили всецело в общей комнате. Прямо против кровати массивная колонна поддерживала мраморный бассейн, вокруг которого на тренажниках покоились широкие амфоры. Среди комнаты стоял столик, искривленные ножки которого заканчивались козьими копытцами химер. Столик этот загромождали всякого рода драгоценности: кольцо из восточных жемчугов молочно-белого оттенка; браслеты, сделанные в виде змей, перегрызающих свое тонкое тело; и те золотые булавки в виде стрекоз, которыми все изящные женщины того времени закалывали свои волосы.

Вдоль стен стояли громадные сундуки с мудреными замками, наполненные шелковыми материями, вышитыми туниками, связанными лентами хитонами и тысячами тех мелких пустяков, за которыми финикияне ездили в далекие страны, расположенные за песчаными пустынями. Они привозили их на афинские набережные вместе с разноцветными птицами в клетках из золотистого бамбука, ящичками из розового дерева или сандала, драгоценными эссенциями и сладкими, вкусными плодами, вызревающими в более жарком климате, чем климат Греции.

А в самом темном углу комнаты стояла на мраморной консоли золоченая статуэтка Афины, перед которой обыкновенно горела лампадка, висевшая на тонкой цепочке. Но в это утро маленькое красное пламя не трепетало в урне. С некоторых пор Эринна как будто меньше заботилась о своей богине, а накануне вечером так и совсем забыла о ней. А между тем она принадлежала к старинному роду Этеобутадов, с незапамятных времен заботившихся о поддержании культа богини покровительницы. Больше она никогда не позволит себе такой забывчивости, потому что Афина строго следит за тем, чтобы ей воздавались почести, и никогда не зажигает факел Гименея для тех, кто не сжигает перед ее изображением на священном тренажнике пропитанные сирийскими благовониями травы. Она любила богиню и почитала ее

со всей своей наивной горячностью. Сколько раз в то время, как подруги ее просто стояли на коленях, она лежала у ее ног с распущенными волосами, касавшимися камня, на котором дымилась кровь жертвы! Какой при этом она испытывала священный трепет, проливая слезы, причины которых она сама не знала!

Она задумалась и в то же время кончиком ноги продолжала теревить шарф.

Почему, после последних празднеств, она просыпается ночью вся в поту и чувствует облегчение, если пройдет босыми ногами по холодному, как лед, мраморному полу? Почему она так умиляется, глядя на воркующих голубей, цепляющихся своими розовыми коготками за край окошка? Почему она полюбила мечтать одна под большими деревьями на дворе, устремив свои светлые глаза в голубое небо?

Она задумалась об этом, а ее маленькая ножка все продолжала теревить легкий шарф. Вдруг она решилась, откинула далеко от себя волны покрывал и соскользнула со своей высокой постели. Она надела изящные крепиды, привязывавшиеся лентами к лодыжкам, опоясалась вокруг бедер мягким шелковым шарфом, умыла в мраморном бассейне лицо и руки и, открыв дверь, выходящую во внутренний двор гинекея, позвала:

– Лизиса, Лизиса, пойди сюда, я встала.

– Давно уж пора, – проворчала старая кормилица, выходя из комнаты, где работали пряжи... – Ах, если бы твоя мать Носсиса была воспитана так, как ты, у нее не было бы теперь лучшего дома в Афинах!

– О, какая ты сегодня сердитая, Лизистрата! Причеши меня и не ворчи. Что у тебя под плащом?

– Ты сейчас увидишь, что такое у меня. Тут есть кое-что для тебя.

Она вошла в комнату, тщательно заперла дверь на задвижку и опустила портьеру.

– Вот, – сказала она, – вот, что у меня: цветы. Точно их мало у нас!

И она бросила на постель целую охапку белых роз, наколотых на кончики листьев серебряной пальмовой ветви, а затем поставила изящную корзиночку, наполненную фиолетовыми фигами.

– Розы! – воскликнула Эринна. – Какая ты злая! Зачем ты их бросаешь? Они могут осыпаться, фиги тоже могут помяться, – сказала она, краснея, – они совсем спелые. Скажи мне, ты должна это знать, откуда все это? Кто их тебе дал? Кто их принес?

– Я не знаю ничего. Их принес молодой раб, и он не сказал ни своего имени, ни имени своих господ. Это не предвещает ничего хорошего, милая моя деточка.

– Почему? – спросила Эринна, снова покраснев. – Я думаю, что это подарок от моей подруги Глауци; у ее отца такой прекрасный сад.

– Разумеется, – отвечала кормилица, полушутя, полусердито. – Это так похоже на нее – присылать тебе цветы и плоды, тем более что она уже неделю тому назад уехала в Элевзис.

– Это правда, я совсем забыла об этом.

– И потом, зачем ты смеешься надо мной? Ты сама хорошо знаешь, от кого это, а если даже и не знаешь этого, то догадываешься.

– Может быть, – отвечала Эринна, бросаясь на шею кормилицы и покрывая ее морщинистые щеки безумными поцелуями.

– Ну, да, ты славная, ты очень любишь свою старую Лизису, хотя это совсем не ее ты обнимаешь так крепко теперь. Успокойся. У тебя волосы совсем спутаются. Садись, я причешу тебя.

Эринна послушно села на низенькую табуретку и доверчиво отдала в руки кормилицы свои длинные волосы, которые доставали до земли и колыхались, как живые, в золотистом сиянии солнца. В открытое окно виднелась смоковница, которая вырисовывалась на синем, как сапфир, небе своими кружевными зелеными листьями. Полуручные голуби с соседних храмов быстро пролетали мимо окна, сверкая в воздухе своими белыми крыльями. Молодая девушка

перебирала руками лежавшие у нее на коленях цветы и в то же время с улыбкой рассматривала отражение своего очаровательного личика в серебряном зеркале. Искусные и ловкие пальцы Лизистраты расчесывали золотыми гребнями волнистые волосы. Она приподняла шелковистую белокурую массу, заколола ее на макушке массивными булавками и, чтобы укрепить грациозное сооружение, окружила его повязкой изумрудного цвета. На лбу колыхалось несколько маленьких локонов, которые, благодаря тому, что были короче других, не могли быть подобраны, и от них на молодое и свежее личико падала легкая тень.

– Вот и готово, – сказала Лизистрата, – красивее тебя нет ни одной девушки в целых Афинах.

– Ты говоришь так, – сказала сияющая Эринна, – ты говоришь так только потому, что во всех Афинах никто не сумеет сделать прическу лучше старой Лизисы.

Молодая девушка встала и, с трудом держа в руках охапку душистых цветов, медленно прошла по комнате. Прозрачная рубашка волновалась на ее молодом теле, как белое облако летом, когда оно, заволакивая бледный лик Селены, дает возможность видеть весь ее светящийся контур. Она переступала, подпрыгивая с ноги на ногу в такт импровизированного танца, и длинная одежда с разрезом на боку распахивалась при каждом шаге.

– Я легка, как птица, – сказала она, – мне хочется петь.

– Пой, – отвечала кормилица, все еще как будто недовольным тоном, – пой, девочка: ты еще успеешь наплакаться после.

В эту минуту кто-то постучал снаружи. Лизистрата открыла дверь и приняла из рук служанки восковую дощечку, которую сейчас же передала своей молодой госпоже.

– О! Вот удивительно! Ренайя зовет меня сегодня к себе в гости.

– Ренайя, – проворчала кормилица, – Ренайя, это твоя бывшая подруга, жена того скульптора, который приходил вчера сказать, что нашел тебя. Она приглашает тебя к себе, и тебя это удивляет. Однако как спешит его друг, этот воин! Ты можешь идти туда и одна. Я не пойду с тобой, даже если Носсиса мне будет приказывать.

– Кормилица, – сказала молодая девушка со слезами в голосе, – ты теперь стала еще злее, чем была за минуту до того. Кто же пойдет со мной, если ты откажешься? Ты отлично знаешь, что я не смею еще говорить об этом матери. Может быть, она запретила бы мне идти. Может быть, она пожелала бы идти со мной сама, и тогда... тогда...

– Что же тогда?

– Тогда это мне не доставило бы такого удовольствия, – тихо прибавила молодая девушка.

– Ну, хорошо, я пойду с тобой, – сказала Лизистрата дрожащим голосом.

При звуке этого голоса Эринна подняла голову и увидела, что лицо у старухи все в слезах.

– О чем ты плачешь, Лизиса, о чем ты плачешь? – спросила она, отнимая руки, которыми кормилица закрывала себе глаза.

– Я плачу... правда... я плачу, потому что я чувствую, что ты покинешь свою бедную Лизису, старость которой освещала твоя улыбка. Боги до сих пор охраняли меня от этого несчастья.

– Не плачь, кормилица, не плачь. Если ты будешь плакать, то мне не будет весело. Во-первых, я еще не пробовала фиг. Затем, если я буду когда-нибудь жить под другой кровлей, я не покину тебя: я возьму тебя с собой.

– Носсиса не согласится на это, – сказала кормилица, отирая, однако, глаза.

– Мать согласится на все, что я захочу. Мне не будет доставать чего-то для моего счастья, если я не буду слышать твоего старого ворчливого голоса. Не плачь же, ну, не плачь, Лизиса. Если я уйду отсюда, то мы уйдем вместе.

– Пусть будет так, как угодно богам. Посмотри, девочка, ты была так взволнована вчера, что забыла зажечь лампадку; если ты будешь забывать молиться богине, она не позволит

тебе выйти замуж. Надень шерстяной пеплос: сегодня свежее утро. Молодая девушка должна прежде всего приветствовать своего отца; я видела, как он прошел в библиотеку.

– А мои цветы, – сказала Эринна, – мои прекрасные розы?

– Я позабочусь о них; поди, девочка, тебе давно пора идти, если ты хочешь оказать почтение отцу раньше, чем он выйдет из дому.

– А мои фиги? Дай мне фиги. О, я решила попробовать их. Я решила это еще вчера вечером, но я очень счастлива, потому что я не знала, что это будет так скоро.

Она выбрала из корзинки ту фигу, которая казалась ей более свежей и душистой, надкусила ее и снова положила, надкушенную, сверху других. Затем она подошла к статуэтке богини, благоговейно зажгла лампадку и три раза прикоснулась лбом к статуэтке.

– Я готова, – сказала она.

Она надела вышитую тунику, складки которой падали до земли, опоясала талию длинным шелковым шнурком, который, перекрещиваясь на левой стороне, завязывался затем на правом боку свободным узлом с развевающимися концами. Так носили этот пояс девушки.

Она накинула сверху тонкий шерстяной плащ, бросила в зеркало довольный взгляд и вышла легкой и грациозной поступью, между тем как старая кормилица молча плакала, облокотившись на край кровати.

\* \* \*

Дом Гиппарха одиноко стоял на недалеком расстоянии от городской стены между Керамикой и садами Академии. Это было настоящее гнездышко, утопавшее в зелени и в цветах. Крытое красной черепицей одноэтажное здание широко раскинулось в тени платанов и высоких смоковниц. Маленький ручеек, часто пересыхавший во время летней жары, тихо струился под зарослями ирисов и камышей. Дикая шиповник цвел по его берегам, а осенью покрывался красными мягкими ягодами, которые клевали певчие» дрозды.

Главный вход в дом приходился как раз против одной аллеи из кипарисов, темные стволы которых переплетались на все лады под густым сводом зелени. Как во всех загородных постройках того времени, доступ к дому был обнесен тройной загородкой. Во-первых, желтые и черные алоэ, простирая во все стороны свои твердые и колючие листья, похожие на мечи, затрудняли доступ к нему животным и людям. Затем следовала живая изгородь из молочая с розовыми цветами, приторный и ядовитый запах которого не допускал змей. Наконец, вечно-зеленые лавры и мирты образовывали за молочайником непроницаемую завесу.

Конон пришел раньше назначенного времени. Безмолвный дом еще спал среди дневной жары.

Он толкнул дверь и вошел. Звяканье цепи, ударившейся о половинку двери, обратило на себя внимание почти голого ребенка, игравшего с большой собакой в золотистом песке на одной из аллей. Ребенок с минуту смотрел с удивлением, а затем вскочил и бросился бежать домой, крича испуганным голосом: «Мама! Мама!»

Собака с лаем побежала за ним. На крики ребенка и лай собаки из дома вышла молодая женщина и остановилась на пороге. Она была одета с изящной простотой. Широкополая соломенная шляпа защищала ее от солнца. Ее туника, слегка приподнятая с правого бока, способствовала стройности и легкости ее походки.

– Ренайя, – сказал Конон.

– Ренайя, – отвечала она, счастливая, что может оказать радушный прием другу своего мужа.

Она своими тонкими пальчиками взяла молодого воина за руку и повела его к стоявшей неподалеку каменной скамье, которую виноградные листья наполовину закрывали своими пурпуровыми фестонами.

– Сядем здесь, – сказала она. И, обращаясь к ребенку, прибавила: – Гиппарх в мастерской. Сходи за ним.

– Ренайя, неужели это твой ребенок?

Она отвечала звучным голосом, в котором слышалась улыбка:

– Это мой брат. Мать умерла, произведя его на свет. Ему шесть лет, а мне девятнадцать. Но он называет меня мамой, потому что он никогда не расставался со мной, и я одна забочусь о нем. Моему сыну, ребенку Гиппарха, всего три месяца. Он теперь спит. Я принесу его сейчас показать тебе.

– Гиппарх говорил тебе...

– Да, – перебила Ренайя, – я знаю о вашем вчерашнем приключении. Поэтому я писала сегодня утром Эринне, что жду ее к себе к полднику.

– Как ты добра и как ты хорошо угадала мое желание.

– Я, прежде всего женщина, – отвечала она, устремляя на Конона блестящие радостью глаза. – Потом я и сама прошла некогда через это. Эринна будет так же счастлива, как бывала и я, когда Гиппарх приходил к моему отцу. Разве ты ее никогда раньше не видел?

– Никогда! Я не знал об ее существовании; она не знала о моем, а между тем мне кажется, что я всегда знал ее.

– Она, во всяком случае, знала твое имя, которое все в Афинах повторяют целую неделю.

– Это могло быть в том случае, если бы она принимала участие в политических разговорах на Агоре... но в гинекеях совсем не говорят, ни о битвах, ни о тех, кто в них участвует.

– Как ты можешь так думать? Нет ни одной семьи, которой не затронула бы эта ужасная война. Нет ни одной молодой девушки, у которой не было бы на триерах брата или жениха. О чем же ты хочешь, чтобы говорили молодые девушки, как не о тех, кто им так близок? Не целый же день сидят они за прялкой. Даже и в то время, когда они работают, они сперва думают, а потом разговаривают. Мы вовсе не такие глупые маленькие зверьки, как вы думаете. Я уверена, что на последнем собрании в храме все молодые девушки говорили о тебе, и что не одна из них мечтала о красивом молодом воине в пурпуре и в золоте...

– Ты смеешься надо мной, Ренайя, – перебил ее Конон, – но я не сержусь на тебя за это, потому что волнение делает тебя еще красивее.

Ренайя слегка улыбнулась. Она знала, что она хороша собой, и что мужчины искренно восхищались ею.

– Вот они, настоящие моряки, – сказала она, – мужество Геркулеса и язык Дионисия. Но меня нельзя заставить замолчать комплиментом, и я все-таки скажу тебе, что не все женщины в Афинах учатся рассуждать в тесмофориях, и что многие девушки, думая о браке, мечтают также и о счастье.

Она сделалась совсем серьезной, и прелестная складка, украшавшая ее губы, сгладилась.

– Счастье, это жизнь, которую Гиппарх сумел создать для меня. Здесь я равная ему, он сам сказал мне это, и, тем не менее, я знаю, что он господин... Я признаю его авторитет и никогда не иду против его воли. Во-первых, потому, что он всегда старается быть справедливым; затем потому, что я его люблю всем моим сердцем и всеми моими чувствами; но я не любила бы его, если бы вместо того, чтобы быть покровителем и другом, он был бы для меня невыносимым тираном. Тебе это понятно?

Конон ответил утвердительным кивком. Она продолжала:

– В таком случае, подражай ему. Но для того предоставь той, которая будет твоей женой, право иметь больше мозга, чем у коноплянки. Если ты намерен, женившись, заключить ее в четырех стенах гинекея, ты будешь иметь в ней только первую из твоих рабынь, как бы ты ни покрыл позолотой стены ее тюрьмы. Она будет прекрасной немой птичкой. Ты будешь уходить в другое место слушать песню, которой она не будет для тебя петь. Она будет матерью твоих детей; а ты будешь искать в другом месте настоящей любви, которая дает и счастье, и утешение.

– Ренайя, – сказал Конон, – я теперь понимаю, почему Гиппарху нет надобности ни трепать свои сандалии под портиками Агоры, ни блистать своим остроумием в гостях у какой-нибудь гетеры. Я не принадлежу к числу людей, знающих тебя давно, но мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что твоя душа еще прекраснее, чем твое лицо. Мне остается только последовать твоим советам, в чем ты, надеюсь, мне не откажешь, но ты говоришь со мной так, как будто Эринна стала уже моей женой. Я знаю, что я люблю ее, но любит ли меня она? С той минуты, как затворилась за мной дверь ее дома, я не перестаю думать о ней, но кто может сказать мне, что она не забыла уже меня?

– Простодушный воин! Ты умеешь читать только в своем сердце! Ты сам только что говорил мне, что ты видел Эринну вчера в первый раз, а между тем тебе казалось, что ты знаешь ее уже давно. Ну, так то, что происходит в тебе, происходит точно так же и в ней. Вчера случай бросил в твои объятия ее молодое, гибкое тело. И, в то время, как ее голова запрокинулась назад, ты чувствовал у своей груди слабые удары этого чужого сердца, которое с той минуты стало тебе дороже твоего собственного. И у тебя явилось желание, чтобы всю жизнь продолжалось это опьянение любовью, которого ты раньше не знал: опьянение от одного лишь прикосновения, бесконечно более чистого, бесконечно более приятного, чем все другие ласки, которые оставляют за собой только разочарование... Вдруг девушка, у которой сердце и чувства спали, ощутила, как по ней прошла горячая дрожь твоего объятия. Что же, ты думаешь, она почувствовала в тайнике своей молодой души? Может быть, ничего? Ошибаешься. Между вами существует только одна разница: ты знаешь, чего ты желаешь, тогда как, она не знает еще этого. Она просто говорит себе, что ей было бы очень приятно провести так всю свою жизнь в твоих объятиях, которые, она знает, очень сильны, прижавшись к твоей груди, которая, она знает это, великодушна. Эрос поразил вас одной и той же стрелой. Никто не ускользает от его чар. Эринна будет здесь, как только заходящее солнце позволит ей покинуть, не обращая на себя внимания, родительский дом.

– О, Ренайя, как бы я хотел, чтобы у нее было такое же сердце, как у тебя. Как бы я хотел, чтобы у нее были такие же возвышенные мысли, и чтобы она так же пылко высказывала их! И я с верой кладу к ногам бессмертных это желание, которое я не нахожу безрассудным.

– В твоем желании нет ничего безрассудного, Конон, но только выслушай, что я хочу сказать тебе еще, – и задушевный голос Ренайи зазвучал в эту минуту как-то удивительно авторитетно. – Призывай бессмертных богов, раз ты веришь в их могущество. Но Гиппарх не раз говорил мне, что наше счастье мы создали сами, что это дело нашего разума и нашей воли, а не послано нам богами, созданными нами же самими, нашими пороками или нашими добродетелями. Кроме нас самих, это могло совершиться по воле Того Неведомого Бога, о котором он говорит мне иногда во время наших длинных бесед по вечерам, и алтари которого, говорит он, всюду.

– Может быть, ты и права, Ренайя, – отвечал Конон. – Но мне каждый день грозят опасности и на море, и в сражениях. Как все моряки я живу под страхом этих вечных опасностей; они заставляют меня чаще, чем других, обращать взоры к небесам и призывать богов моей родины.

– Мы немного удалились от предмета нашего разговора, – сказала, улыбаясь, Ренайя. – Мы можем прекратить этот разговор, потому что мы совершенно согласны друг с другом, а потом... ко мне несут сына, который призывает меня к земному. Боги! Гиппарх! – вскрикнула она. – Как ты его держишь... Осторожнее... Ты его уронишь...

Гиппарх приближался, идя неуверенной походкой, какой ходят почти все мужчины, когда им случается нести на руках ребенка.

– Посмотри, как он хорош, – сказал он.

И, желая дать возможность лучше рассмотреть ребенка, он вытянул руки и с минуту продержал его на весу.

Испуганный ребенок разразился отчаянными криками. Отец пытался его успокоить, но безуспешно и, наконец, смущенный, передал его Ренайе.

– Возьми его, – сказал он, – возьми; ты его очень дурно воспитываешь.

– Я дурно воспитываю его! Ты хочешь сделать гимнастом трехмесячного ребенка! Подожди до тех пор, пока он достигнет такого возраста, когда ему можно будет принять участие в упражнениях на стадионе. Мой дорогой малютка боится, чтобы его ловкий папаша не уронил его на землю...

И она, присев на край скамейки, отстегнула свою тунику и стала кормить ребенка.

Проникавшие сквозь листву солнечные лучи окружили чело молодой матери светлым ореолом. Она наклонилась к розовому ребенку, который жадно пил из источника жизни.

Гиппарх смотрел на нее. Чувствуя на себе ласковый взор мужа, гордясь тем, что она жена, и радуясь тому, что она мать, молодая женщина улыбалась, отдавшись вся охватившему ее радостному настроению.

Ребенок заснул. Ренайя завернула его в пеленки и положила в ивовую корзинку, которую прикрыла прозрачным покрывалом. Большая собака сама подошла к колыбели и, виляя хвостом, улеглась около нее, уткнув морду между лапами. Жаворонки, заливаясь, поднимались к голубому небу.

И в то время, как они все трое стояли молча, они услышали, как звякнула цепочка о дверь: наружная дверь открылась. Вдали, в кипарисовой аллее, показалась Эринна, сопровождаемая кормилицей, которая шла за ней мелкими быстрыми шажками. Она шла скоро, и ее длинное покрывало отливало золотом, когда она проходила между деревьями в лучах солнца.

Ренайя побежала к ней навстречу, взяла ее за руки и обняла.

– Как я рада видеть тебя у себя в доме, – сказала она, – так рада, так рада! Смотри! Это Гиппарх, мой муж, которого ты теперь хорошо знаешь со вчерашнего дня; это Конон, его старинный друг, который сейчас стал моим другом и которого ты тоже знаешь немного; там в корзинке спит мой сын, а тут возле меня мой маленький брат прячется за мое платье. Мы все собрались здесь, чтобы приветствовать тебя. Постой, я сниму с тебя покрывало, чтобы видно было твое лицо, и чтобы ты могла сказать нам что-нибудь: раньше ты любила поболтать.

И молодая женщина в ту же минуту отстегнула блестящие аграфы, которые поддерживали вокруг волос ее подруги волны легкой материи.

– Возьми это покрывало, Лизистрата. Деметрий, проводи старую Лизису в комнату прях: вели усадить, ее и подать ей пирожков и вина. Иди с ним, Лизиса, только возьми его за руку, мальчик бежит скоро, и ты иначе отстанешь от него.

Эринна стояла немного смущенная. Она с достоинством знатной особы носила изящный костюм благородных афинянок. Ее волосы, точно покрытые золотистой пылью, окружала шелковая зеленая повязка, которая только поддерживала их, но не стягивала; тонкая черта продолжала брови под гладким и низким лбом; немного сурьмы покрывало ресницы. Вопреки моде того времени, которая заставляла женщин сильно румяниться, ее изящное и свежее лицо не нуждалось ни в каких других прикрасах.

Конон подошел к Эринне и заговорил с ней вполголоса. Черные, точно бархатные, с искорками глаза молодой девушки сверкали по временам из-под опущенных ресниц. Щеки у нее зарумянились. Она улыбалась и, когда она наклоняла голову, верхняя часть ее лица покрывалась на мгновение легкой тенью, падавшей от густой массы волос. Наконец, когда ее собеседник обратился к ней с вопросом, вероятно, имеющим решающее значение и в то же время ей приятным, черты лица ее еще больше оживились, глаза стали еще темнее. Она смело подняла их: в них сверкали молнии. Вся гордая кровь, которая текла в ее жилах, бросилась ей в лицо, залила ее шею и уши.

Она утвердительно кивнула головой, и Конон взял ее за руку.

– Я, признаюсь вам, боялась, – сказала, смеясь Ренайя, – что вы никогда не столкнетесь. Ты как думаешь, Гиппарх, можно было этого бояться или нет?

– По-моему, нет, – отвечал скульптор. – А не пора ли нам обедать?

– Идемте обедать. Пойдем со мной, Эринна!

Она взяла за руку свою подругу и повела ее в мастерскую. Дорогой она прижалась к молодой девушке и обняла ее. Одна была брюнетка, другая блондинка. Но их полные счастья мысли были сестры, и один и тот же ветер играл их волосами.

Мастерская Гиппарха была очень большая комната, освещавшаяся сделанными в потолке окнами со вставленными в них стеклами, – роскошь в то время очень редкая, которой не имели даже храмы. Стены комнаты были украшены прислоненными к ним и висевшими на них гипсовыми или глиняными слепками, а самая комната заставлена статуями, из которых одни были уже окончены, а другие еще только начаты. Стоявшая в одном углу фигура из черного дерева, слоновой кости и бронзы напоминала, не копируя ее, ту знаменитую статую Афины, золоченое копьё которой касалось кровли Парфенона. Раб закрывал мокрыми простынями стоявшую среди комнаты массу еще бесформенной глины, огороженную ширмами.

– Какой удивительный беспорядок! – вскричала Ренайя. – Я здесь не хозяйка, впрочем. Возьми одну из этих скамеек, Конон. А вот это тебе, Эринна. Тут нет ни одного ложа, но Гиппарх хотел непременно принять вас здесь. Он уверяет, что все надо смотреть на том именно месте, где оно должно быть: триерарха на корабле, а скульптора в мастерской!

Они уселись вокруг просто сервированного стола: фиолетовые фиги, показывавшие в многочисленных трещинах свое красное и сладкое мясо, яйца, молоко, свежий сыр и маленькие золотистые хлебцы в маленьких изящных корзинках. Розоватые ионийские вина и более темные самосские или кипрские вина сверкали в четырехугольных стеклянных сосудах, углы которых были оправлены в олово.

Так как за обедом не было ни одного слуги, Гиппарх сам налил вино в чаши и сказал:

– Когда мы бываем вдвоем с женой, мы относимся не особенно почтительно к бессмертным и не делаем обычных возлияний. Но сегодня, друзья мои, я хочу совершить возлияние за ваше счастье перед этой полузакрытой статуей Афродиты Нимфы.

Он пролил на пол несколько капель золотистого вина.

*«Я отдаю ваше счастье под покровительство великой богини,  
сестры античной пчелы.*

*Из всех сынов Эллады одни мы, афиняне, дали ей это имя.*

*Когда эллины, победители Трои, научились почитать ее  
могущество.*

*Потому что другие почитают ее неправильно или по-варварски.*

*Потому что она Анадиомена с водорослями в волосах, белая дева  
наших священных волн.*

*Потому что здесь ее формы прекраснее, ее уста горячее, глаза  
вдохновеннее.*

*И если бы земля погрузилась когда-нибудь в бездны морские, по  
которым она шествует.*

*Афродита, вечная и неизменная, увидела бы еще под своими  
обнаженными ногами другие миры».*

Гиппарх простер руки над головами молодых людей, потому что в то время, как он говорил это, они приблизились друг к другу, и их лбы соприкасались под смешавшимися волосами. Он благословил их жестом жреца и вдохновенным голосом поэта продолжал:

*«Это она, силой своего могущества, заставляет ржать диких жеребцов,  
когда ветер ливийских пустынь доносит до них топот приближающегося табуна кобылиц.  
Это она заставляет мычать быков и гордо сверкать глаза львов.  
Это она кладет на чело девушки румянец неведомого желания.  
Это она кладет на чело женщины румянец радостных воспоминаний.  
Это она соединяет женщину с мужчиной, как гибкий плющ с могущественным стволом дуба.  
Это она подчиняет себе животных, и она же властвует над людьми.  
Потому что она великая богиня любви.  
Потому что она высшая богиня жизни.  
И покрывала, скрывающие ее неподдающуюся описанию красоту, скрывают утробу, где зреет будущее».*

Он умолк. Все остальные тоже хранили молчание.

– Мне нравятся твои слова, Гиппарх, – сказала, наконец, Эринна. – Ты великий артист: время прославит твоё имя, и черты Анадиомены, изваянные из мрамора твоей рукой, будут жить вечно.

– Что нам до того, – тихо сказала Ренайя, – что будут говорить о нас через много веков. Я готова отдать все статуи Гиппарха, даже ту, которую он вылепил с меня, когда я стала уже его женой, но не была ещё матерью, – я отдала бы их все за одну улыбку моего ребенка.

Гиппарх не сказал ничего; он подошел к жене и долго целовал ее около темных локонов, которые вились у нее на висках.

Вместе с наступившей прохладой вечер проникал в мастерскую. Это было самое приятное время. Заходящее солнце скрывалось за смоковницы.

Старая кормилица приподняла портьеру.

– Пойдем, дитя мое, – сказала она, – пора домой.

– Это правда, – воскликнула Ренайя. – Ночь наступает. Я пойду за моим сыном.

Ее ребенок все еще спал в своей корзинке, стоявшей на каменной скамье, охраняемый неподвижно лежащей собакой.

## Глава 3

В ту эпоху Афины, неправильно расположенные у подножья своих знаменитых холмов, опоясывались высокими кирпичными стенами, почти везде покрытыми неразрушимой штукатуркой из толченого мрамора. Эти стены, настолько широкие наверху, что по ним свободно можно было разъезжать в колеснице, защищались зубчатыми башнями, сообщавшимися через подземные галереи. Окружность стен, включая сюда и Длинные стены, соединявшие город с гаванью, достигала двухсот стадий. Низкие дома без окон наружу, прижатые один к другому, лепились вдоль узких переулков, вымощенных мелким булыжником. Более широкие дороги, вымощенные большими камнями, тщательно пригнанными один к другому, вели к воротам, выходящим на равнину. Беспреданно проезжавшие колесницы проложили в них глубокие колеи, в которых во время дождей стояла вода. По бокам этих широких улиц стояли богатые дома, большая часть которых принадлежала метекам, нажившим богатство торговлей, которую презирали настоящие афиняне. Выращенные в кадках лимонные деревья, обрезанные в виде шара, заглушали своим сильным запахом более нежный аромат лавров, жасмина и роз. Кирказоны и виноградные лозы смешивали на портиках свою разнообразную листву. Масса тимьяна, лаванды и желтофиоля росла по склонам. Там и тут виднелись прекрасные статуи бесчисленного множества богов и богинь – все они имели своих жрецов, свой культ и свои храмы; затем легкие колонны, поддерживавшие треножники, или те бронзовые урны, в которых ночная стража в безлунные ночи зажигала смесь горного масла и горной смолы; наконец, памятники победителям на ристалищах, небольшие колонны с бюстами, увенчанными золотыми лавровыми венками, и многочисленные фонтаны, полные свежей и прозрачной воды, у которых стояли запоздавшие жены ремесленников и моряков, окруженные шумной, пестрой толпой рабынь.

Афины уже почти целые двадцать пять лет вели войну с Лакедемонией, и эта борьба обогрела кровью всю известную тогда часть света. Все афиняне жили под защитой своих городских стен, которые уже три раза тщетно пытались взять спартанцы. Но зато вся окружающая город местность представляла только одну большую пустыню. Поселяне оставляли свои поля невозделанными и бежали в город. Оливковые рощи были вырублены, фиговые деревья уничтожены. Кефис и Иллис печально текли между лишенными зелени берегами. Затем одно очень жаркое лето окончательно сожгло землю. Пчелы не могли собирать мед за неимением цветов. Громадные белоголовые коршуны, сидя неподвижно на мраморных колоннах, некогда служивших украшением могил, высматривали падаль. И только в пожелтевшей траве, пробивавшейся там и тут из высохшей и растрескавшейся земли, весело стрекотали кузнечики.

Афины, побежденные на суше, сохраняли свое владычество на море. Разорение и разграбление из окрестностей почти нисколько не ослабило их престижа и не уменьшило их богатства. Незадолго перед тем победоносный флот Алкивиада вошел в гавань. Привезенная им громадная добыча покрывала еще Агору, а трофеи, привезенные из Византии, загромождали портики храмов. Целая толпа ликующего народа провожала до пропилеев молодого и гордого полководца. Эфебы выпрягли лошадей из его колесницы, а молодые девушки, покинув свои гинекеи, осыпали его с террас розами. Народ возвратил ему его имущество, недавно проданное с торгов, и бросил в море свитки, на которых был написан давно уже всеми забытый приговор. Наконец, эвмольпидес сняли проклятия, произнесенные против осквернителя святыни, некогда изгнанного за это преступление... Едва прошел месяц, и тот же самый народ снова обвинил триумфатора в желании восстановить для себя царскую власть... Алкивиад снова укрылся на свою триеру и бежал на ней из своей своенравной родины, направившись к Андросу.

В тот день в городе было необычайное движение. Граждане поспешно выходили из своих жилищ и, приподняв тунику, бежали к Агоре. Дурные вести, привезенные беглецами с Самоса,

вызвали в нервно настроенной толпе тревогу и гнев. Местами началась уже драка, и трое опасно раненых были перенесены стражей пританов в лавку одного цирюльника.

Конон и Гиппарх, возвращаясь из Керамики, проникли под портики. При их появлении стала водворяться тишина в группах, и простые граждане удалялись от них, потому что и тот и другой были уже знамениты.

У подножия статуи Артемиды, Аристомен и Формион, агитаторы такие же крикливые, как и неспособные, с ожесточением надрывали свои глотки.

– Да, – говорил Формион, – лошади, выигравшие на бегах несомненно принадлежат Диомеду: они были только перекрашены. Человек, совершивший эту гнусность, недостоин командовать армией.

– О ком это ты говоришь, Формион? – спросил Гиппарх, останавливаясь.

Формион поколебался с минуту но, не видя среди присутствовавших никого из друзей Алкивиада, отвечал громко и с притворной смелостью:

– Я говорю об афинском стратеге Алкивиаде, который начальствует над флотом; вчера еще побежденный, он сегодня стал победителем на ристалищах, воспользовавшись лошадьми, принадлежащими другому.

– Это, действительно, важно, – отвечал Гиппарх. – Ты, может быть, простил бы ему поражение за одержанную победу, если бы эта победа наполнила твой кошелек, вместо того, чтобы опустошить его.

– Не смейся, – гневно возразил Формион. – Если архонт не карает за такое преступление, если всякому желающему можно обманывать честных игроков, то это уже дело государственной важности.

– Я понимаю причину твоего дурного расположения, – сказал скульптор, беря Конона за руку и продолжая свой путь.

Оба друга миновали через Пецилес, прошли, несколько минут по аллее Треножников, потом по дороге Дромос и подошли к дому Леуциппы.

Это был один из красивейших домов в этой части Афин, считавшейся самой богатой и самой элегантной. Широкий портик дома, построенный из пентелийского мрамора, поддерживали четыре мраморных колонны. Росшие возле дома апельсиновые деревья наполняли весь воздух кругом ароматным запахом; там и тут сквозь темную листву вечнозеленых мирт проглядывали пурпуровые цветы гранатов.

Конон и Гиппарх медленно поднялись по широкой лестнице. Под протироном, вымощенным белыми и голубыми плитами, стояли две бронзовые фигуры, украшавшие носы двух галер. И та, и другая изображали одного из тех морских коней, которые, как уверяли, бороздят моря за широким проливом, за скалами, разделенными могучей рукой Геркулеса.

Леуциппа сам побывал на своих галерах в этих опасных местах. Он видел далекие материки, населенные дикими народами, видел разбросанные по морю острова, поросшие странными деревьями. Но носы его галер запутались в травах, плававших по поверхности моря; гигантские рыбы преследовали его суда; каждый вечер на горизонте появлялись новые звезды, и волны кровавого цвета катились вокруг кораблей с ужасным шумом и ревом. Матросы, не слушая его, самовольно повернули галеры и, судорожно работая веслами, поплыли обратно по этому ужасному потоку, который нес в бездну воды океана.

Леуциппа, вернувшись домой, приказал снять украшения со своих галер. Он посвятил их Посейдону и сделал хранителями своего дома. И с тех пор все посетители останавливались перед этими неподвижными лошадьми, которых окружало какое-то особенное обаяние, и которые, казалось, еще неслись по морю.

Конон долго рассматривал их.

– Видишь, – сказал ему Гиппарх, – как хорошо умели древние скульпторы вкладывать в свои произведения жизнь и правду, которую мы утратили. Афина Промяхос прекрасна, без

сомнения; это бессмертное и чудное произведение. Малейшая складка ее одежды изучена и передана удивительно верно; поза запечатлена также правдиво. Это действительно статуя богини. Но можно ли сказать, что ее холодное спокойствие, ее несколько суровое равнодушие естественны? Может быть, Фидий, создавая из золота и слоновой кости этот безукоризненный образец спокойствия божества, имел в виду изобразить богиню именно такой в противоположность бурной подвижности простых смертных? Это возможно. Во всяком случае, у его Афины нет другой жизни, кроме той, которую ей приписывает вера, почитающих ее. Теперь взгляни на этих коней. Они сделаны грубо; но несмотря на это, я вижу пену у них на мордах, искры под их копытами. Ноздри у них раздуваются. Грива развеивается. Они движутся.

В эту минуту у входа в галерею появился Леуциппа. Конон подошел к нему и, приветствуя его поклоном, сказал:

– Эмблема мира лучше эмблем войны. Я был бы очень рад заменить на своей триере боевой щит крылатыми конями и, подобно тебе, мирно бороздить на ней сверкающие равнины моря.

– Мечта, достойная твоей молодости и твоего благородства, – отвечал Леуциппа. – Придет время, и ты, наверное, осуществишь ее. Что же касается меня, то я хотел бы провести остаток моей жизни мирно, принося жертвы пенатам, беседуя с людьми мудрыми о вечных бессмертных истинах, окруженный моими внуками... Но, увы, друзья, которые остались у меня, точно так же, как и я, охвачены ужасом. Нам кажется, что демократия ведет к гибели наше отечество. Мы, старики, каждый вечер благодарящие богов за прожитый нами день, мы хотели бы быть уверенными в том, что найдем неприкосновенный приют в земле, под теми же оливами, которые посадили наши отцы... Наша кратковременная жизнь была свободна: пусть же и наш долгий сон не будет никогда рабским.

Они прошли под широкие портики, которые ограждали со всех сторон четырехугольный двор Андронида. Человек десять, одинаково одетых в белое, уже находились там. У одного только Конона была легкая хламида с пурпуровыми отворотами. Леуциппа направился к одному из гостей, который по наружности казался всех старше. Это был человек высокого роста; белая густая борода, тщательно выхоленная, ниспадала ему на грудь.

– Лизиас, – сказал Леуциппа, – вот Конон – триерарх и Гиппарх – скульптор. Их мужество и помощь богов спасли жизнь моей дочери Эринны.

Лизиас поднялся со своего места, расправил складки плаща и с улыбкой сказал:

– Мы уже знаем тебя, Гиппарх, как одного из наших славных детей. Что же касается тебя, Конон, то мы все читали твое имя на почетных таблицах. Я часто бывал у твоего отца; он был человек справедливый, почитавший богов. Черты его лица оживают в чертах твоего лица.

Конон поклонился и отвечал:

– Ничто не могло бы растрогать сердце сына больше, чем высказанная публично хвала его отцу; особенно мне было приятно услышать это от тебя, Лизиас, так как твоя дружба делает честь тем, кого ты ею достаиваешь.

Он приветствовал простым жестом остальных присутствовавших. Все ответили ему на приветствие с тем изящным величием, которое отличало знатных афинян в их сношениях между собой или со знатными иностранцами.

Молодой раб подошел к Леуциппе.

– Господин, гномон показывает седьмой час.

– Хорошо, Эней, прикажи принести цветы.

Раб слегка ударил молотком по медному диску.

В ту же минуту вошли слуги и выстроились перед дверью залы, в которой должно было происходить пиршество. В руках у них были амфоры, полные священной воды, и корзины с венками, сплетенными из цветов. Когда гости, направляясь в залу, проходили мимо них, они

возлагали на голову каждого венки из плюща с вплетенными в него розами, и затем лили ему на руки несколько капель душистой воды из амфор.

Зала, в которую последним вошел Леуциппа, была больших размеров и шестиугольной формы. В ней находилось четыре мраморных стола и вокруг каждого из них по три ложа, похожих на покатую постель, покрытых шкурами пантер, поверх которых лежали подушки для того, чтобы на них можно было облакачиваться. Стоявшие в каждом углу легкие колонны, поддерживали слегка приподнятый купол, отверстие которого прикрывал полотняный велум, пропускавший только слабый свет. Затянутые яркой материей стены были убраны гирляндами из роз и плюща. Шкуры фессалийских львов, разостланные на полу, заглушали шум шагов, а из бронзовой пасти дельфина тонкой струей падала вода в мраморный бассейн, в котором плавали золотистые рыбки...

Леуциппа провел Лизиаса к центральному столу, указал Гиппарху и Конону на два соседних ложа и разместил, затем, остальных гостей сообразно их возрасту и общественному положению.

Рабы наполнили чаши ионийским вином, и пиршество началось.

Разговор сначала не клеился, но затем мало-помалу принял оживленный характер. Аристовул сообщил подробности о том, что произошло утром на ристалище. Лошади Антисфена должны были выиграть, но при втором повороте колесо его колесницы наехало на камень, и возница, свалившийся под упавших и запутавшихся в постромках лошадей, получил серьезные повреждения. Победительницей была объявлена вторая колесница, но публика отнеслась к этому холодно, потому что за нее держало пари мало игроков. Вдруг распространился слух, что лошади победителя, бежавшие под именем Алкивиада, в действительности принадлежали Диомеду. Тогда все пришли в неистовство. Публика заглушила своими криками голос распорядителя игр, не слушая его объяснений, поломала скамьи и балюстрады и покидала их на арену. Пришлось возвратить деньги и закрыть ипподром.

Затем заговорил Лизиас о злосчастной войне, которая столько лет уже парализует торговлю и всю жизнь государства. Лакедемоняне одержали победу, благодаря неосторожности Алкивиада. Оставив часть флота для обсервации возле Симеса, под начальством Антиоха, стратег с другой частью отправился на поиски обратившихся в бегство кораблей Лизандра. Лизандр обманул преследователей и, повернув назад, неожиданно напал на флот Антиоха, который обратился в бегство и при этом, для спасения остальных судов, должен был пожертвовать тремя галерами. Несколько часов спустя, Алкивиад, правда, стоял уже перед гаванью, и Лизандр не посмел выйти из нее; но, несмотря на это, лакедемоняне все-таки воздвигли на берегу трофей, которой афинские моряки могли видеть с моря. Это было бесспорным знаком поражения, и престиж знаменитого Алкивиада сильно упал на Агоре.

Гиппий, софист, который, вопреки своему обыкновению, до сих пор еще ничего не сказал, приподнялся на локте:

– Слух об этом несчастном сражении распространится всюду и поколеблет и без того уже шаткую верность наших союзников. Эта война гибельна, она превратила Аттику в пустыню. Она поглотила сокровища, собранные в опистодоме предусмотрительностью наших отцов. Наша военная слава померкла под Сиракузами. Невежество и неумелость народа принуждают нас вести рискованную игру в ненужные сражения, которые грозят опасностью самому существованию Афин. Меня очень страшит будущее.

– Не надо страшиться его, – заметил Конон, – надо его создавать.

В эту минуту один из рабов, прислуживавших гостям, поскользнулся и, падая, слегка поранил себе руку.

– Я должен предотвратить это дурное предзнаменование, – сказал Леуциппа.

Он приказал наполнить медом золотую чашу с двумя ручками, употреблявшуюся для возлияний, и, стоя перед домашним жертвенником, помещавшимся в самом темном углу залы, медленно поднял тяжелую чашу.

– Бессмертная покровительница, дочь Зевса, блистательная Афина, прости над моим домом твою спасительную руку помощи. Не ставь нам в вину наше счастье, дочь Зевса, блистательная Афина.

И все гости повторили в один голос:

– Не ставь нам в вину наше счастье, дочь Зевса, блистательная Афина.

– Мне кажется, – сказал Гиппий, когда они снова заняли свои места, – что я видел как-то в мастерской Гиппарха ту самую статую, которая стоит на жертвеннике.

– Да, – отвечал Леуциппа, – Гиппарх изобразил ее по статуе Афины Промахос для банкира Праксиса; и я приобрел ее, когда разорившийся Праксис должен был продать с аукциона все, что имел.

– Знаете, – продолжал Гиппий, – при тусклом освещении в мастерской она не казалась мне такой прекрасной, как теперь. Здесь белизна мрамора выделяется на темном фоне занавеса, и контуры не имеют той резкости, которая делает похожими наши статуи при дневном свете на простые силуэты.

– Это верно, – сказал Гиппарх, – это постоянно наблюдается в Афинах. Бронзовые статуи даже на светлом фоне неба никогда не бывают, грубы, потому что масса отражений света придает рельефность формам, округляет их, сообщает им некоторого рода прозрачность. Мрамор же, наоборот, требует контраста, дрожащего света, проходящего сквозь листву деревьев, или темного фона кущи олив.

– Не находишь ли ты, – спросил Леуциппа, – что красота мрамора достигает наибольшего великолепия при желтых тонах осени?

– Разумеется; это эффект контрастов. В конце прошлой осени мне пришлось один раз наблюдать подобное явление. Я видел, как при блеске заходящего солнца пылало и небо, и священные дубы Додона. Начавшиеся уже холода позолотили кроны столетних великанов, и статуя олимпийца, облитая этим золотым светом, казалось, купалась в море лучей.

– Я знаю эту статую, – сказал Лизиас, – это не особенно изящное произведение неизвестного скульптора.

– Все нет, – возразил Гиппарх. – Аристомен из Митилены был великий художник.

Истинный художник тот, кто умеет применять свое произведение к окружающим его предметам, гармонировать его с ними, создавать его, сообразуясь с местными условиями, и, если нужно, изменять его соответственно им. В этой дикой стране, где властвуют грозные оракулы Зевса, нужно было создать нечто мощное, величественное, нечто такое, что воплощало бы представление о непоколебимой власти грозного божества, которое не только карает, но и милует.

– Я того же мнения, – сказал Аристовул. – Я нахожу, что эта статуя прекрасно отвечает той идее, какую должна была составить себе народная масса об олимпийце. Когда я проходил мимо Додона, суровое величие этого места поразило меня помимо моей воли. Я был тогда эфебом с длинными волосами. Я думал, что моя молодость никогда не кончится, и очень мало боялся бессмертных.

– Мы должны бояться их и в молодости, и в старости, – сказал Лизиас.

– О, – воскликнул врач Эвтикл, – все эти бессмертные начинают стариться.

Наступило молчание, гости переглянулись, и даже рабы замерли на своих местах.

– Эвтикл, – строго сказал Леуциппа, – ты сказал не то, что думаешь. Или, может быть, на тебя оказало влияние учение Сократа, развратителя молодежи?

– Сократ, – возразил врач, – мудрейший из людей. Он почитает богов и особенно верит в человеческий разум.

– Оставим это, – сухо сказал Леуциппа. – Лучше попросим Гиппарха выяснить нам до конца свою мысль.

– Да, – сказал Лизиас, – тем более, что его доводы не убедили меня, и его теория нисколько меня не прельщает. Я, наоборот, думаю, что прекрасное прекрасно само по себе, что оно вовсе не нуждается в каком бы то ни было применении своей формы к внешним предметам, и что оно ни в каком случае не может быть результатом удачного сочетания обстановки. Когда я рассматриваю статую, где бы она ни была, здесь или там, мне все равно, – я забываю обо всем остальном и не вижу и не чувствую ничего, кроме нее. Зачем мне нужно окружать Зевса дубами или горами скал, чтобы видеть презрение или гнев на лице Олимпийца?

– Ты представляешь исключение, Лизиас, – возразил Гиппарх после короткого молчания, – потому что ты можешь отрешиться от всего остального, как ты сам сейчас сказал, и еще потому, что ты, как человек развитой и с хорошим вкусом, видишь красоту в самом изображении ее, в изяществе и чистоте форм. Но это только образ красоты, это не сама красота. Красота заключается не в одном только этом, а еще и в иллюзии. Потому что часто иллюзия создается искусством...

– А между тем, – перебил Лизиас, – это изображение, эта иллюзия и есть истина и жизнь. Простой человек, который только чувствует, но не анализирует, никогда не скажет, что произведение прекрасно, если в нем нет этой жизни и этой истины.

– Я понимаю тебя. Я хочу сказать, что жизнь и истина далеко еще не все в искусстве. Они являются краеугольным камнем его, они подкрепляют его, они пополняют его, не обнимая его, потому что искусство преследует свою определенную цель и, чтобы хорошенько понять его, надо искать эту цель там, где особенно резко проявляется его значение: в воспроизведении нравственной красоты с помощью красоты физической. Нравственная красота это идеал; физическая красота это только та жизнь и та истина, о которой ты говоришь. Для того чтобы произведение было прекрасно, оно должно быть живо; нужно, чтобы художник вложил в него то, что он чувствует, свою душу. В нем должна быть правда; нужно, чтобы работа рук не искажала творчества мысли. Но самое главное, чтобы оно не было точным воспроизведением природы.

Это необходимо потому, что красоты внутренней, красоты, созданной воображением и носящей на себе отпечаток благородных побуждений, красоты, внушенной стремлением к идеалу, такой красоты в природе нет. Мы создаем ее сами; ее создают наши скорби, наши радости, наши стремления, присущее нам поэтическое творчество. Для того, чтобы созданное нами произведение было прекрасно, для того, чтобы все, и профессионал, и мыслитель, чувствовали себя одинаково маленькими перед ним, нужно, чтобы оно носило печать той высшей идеализации, которую может вложить в него один только гений. Красота – это образ, созданный нашей мечтой, это то бесконечно далекое, что живет иногда в тайниках нашей бессмертной души, к чему часто приближаешься, но чего никогда не достигаешь.

– Вот именно так и я понимаю красоту, – сказал Лизиас, – только... и я нисколько не стыжусь в этом признаться, я не сумел бы этого так хорошо выразить. Но мне все-таки кажется, что истинно художественное произведение, то есть такое, о каком ты только что говорил, не нуждается ни в каких прикрасах. Я смотрю на небо, восхищаюсь им, и, как я сейчас говорил, даже с закрытыми глазами, все еще созерцаю его.

– И однако же, – возразил Гиппарх, – художник не может считать свою миссию оконченной даже и в том случае, когда ему удастся создать нечто на самом деле прекрасное, нечто такое, что будет всеми признано совершенством. Надо еще найти для него рамку, надо выставить его при соответствующем освещении. Наш Парфенон не представлял бы собой ничего в туманах Эвксина.

Ему нужны ласки голубого неба Аттики, огонь нашего солнца и, в тишине наших вечеров, розовый свет нашего прекрасного заходящего солнца, с сожалением покидающего его освещенную кровлю!

– Это верно, – сказал художник Критиас, который до сих пор не произнес еще ни слова, – это верно, и особенно в архитектуре и в скульптуре. Но в живописи?

– Живопись, – возразил Гиппарх, – выше скульптуры. В мраморе меньше жизни, чем в картине, писанной красками. И, несмотря на это, всякая картина, как бы хороша она ни была, в удачно выбранной для нее обстановке кажется еще лучше.

– Проникнем в храм Бахуса. Божество, принадлежащее кисти Парразиоса, сияет во всей своей славе. Бронзовые подножия блестят по углам жертвенника. Привешенное к потолку оружие, мраморные и металлические статуи, столы, треножники, золоченые вазы, роскошные ковры создают обстановку, которая еще более усиливает яркость красок. Туша принесенного в жертву быка еще трепещет. Клубы фимиама вьются вокруг колонн и медленно поднимаются кверху с пением и молитвами. Жрецы, поднимая все одновременно свои обнаженные руки, украшенные золотыми браслетами, вторят священному пению гармоничными звуками арф. Тогда я взглядываю на божество; я вижу, как течет кровь под мертвыми красками, я чувствую в них жизнь. Глаза Бахуса сияют, на челе у него лучи, которые погасают, как только храм пустеет... Вот что делает обстановка; она заставляет верить в богов меня, Гиппарха, который, как и Эвтикл, приносит жертву главным образом человеческому разуму.

– Вы не отвечаете? – снова заговорил он, так как никто из присутствовавших не возразил ему ни слова.

– Ты очень гармонично выражаешь все то, что мы чувствуем, – сказал Лизиас. – Но то, что ты говоришь, очень печально для тех, кто владеет галереями картин знаменитых художников.

– Картинные галереи – это клетки с птицами. Тем не менее, они имеют свой смысл. Они дают заработок художникам и, кроме того, если смотреть на них умеючи, можно извлечь для себя кое-что полезное.

Он приподнялся на своем ложе и, указывая рукой на большое панно между центральными колоннами, сказал:

– Смотрите и слушайте внимательно, что я буду говорить. Ночь медленно спускается над уснувшими Афинами. Присядем все вместе на краю этих пустынных скал. Моя мысль, без всякого усилия, обращается и той отдаленной эпохи, когда море билось об эти никому неведомые еще берега; когда здесь не было еще слышно человеческого голоса, потому что дети Пирры еще не появлялись на свет. Этот рассеянный свет напоминает мне, что там, во мраке, у меня под ногами, другие, непохожие на меня существа живут своей короткой жизнью и волнуются из-за своих кратковременных страстей. Затем, я закрываю глаза, и этот свет – уже свет другого города, свет будущих Афин, зажженный людьми, которые придут в свою очередь вспоминать о прошлом на эти самые скалы. Вот что внушает мне бледный свет месяца, как бы задремавшего под этим неподвижным облаком. И вчера, и сегодня, и завтра, и вечно все одно и то же. Ведь этого хотел художник? Ведь ты этого хотел, Критиас?

– Да, – отвечал Критиас. – Моя кисть скользила по полотну. Моя душа руководила ею, преследуя твою мечту.

– Я восхищаюсь тобой, Гиппарх, – сказал Конон. – Твои слова несомненная истина. Я не раз переживал, может быть, бессознательно, все, что ты только что сказал. Сколько раз, полулежа на носу триеры, слушал я, как пели перед отходом ко сну гребцы унылые песни своей далекой отчизны. Другие голоса доносились до меня с невидимого флота. Мне казалось, что я вижу, как часы жизни падают один за другим за кормой триеры. Но где ж было задумываться над этим простому скромному воину, и я призывал бессмертных богов.

– И ты поступал хорошо, – сказал Леуциппа торжественно. – Это они вручили тебе твой резец, Гиппарх, твою политику тебе, Критиас, и твой меч тебе, Конон. Это им угодно было,

чтобы над Афинами сияло такое солнце. Это они дали нам сознание радости бытия, детей, подающих надежды, старых, сохранивших светлый ум. Возблагодарим их за это. Совершим, опустившись на колена, священные возлияния...

В эту минуту в доме вдруг поднялся шум; послышались восклицания и крики; с улицы доносился топот ног множества людей. В комнату вбежали вооруженные рабы. Эней жестом остановил их и, склонившись пред Леуциппой, сказал:

– Господин, сюда пришли посланные от народа... Я предложил им от твоего имени очистительной воды.

– Хорошо. Впусти их.

Вошли посланные от народа в числе десяти человек и стали группой в глубине залы, гордо драпируясь в свои скромные суконные плащи.

– Рад видеть вас под моей кровлей, – сказал им Леуциппа, – мы только что кончили обедать и собирались делать установленные возлияния богам. Не хотите ли совершить их вместе с нами?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.